

DOI 10.25991/VRHGA.2021.22.3.016

УДК 101:7.01:82-1

*E. K. Соболевская\**

## ТОСКА ПО РОДИНЕ КАК СМЫСЛООБРАЗУЮЩАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПОЭТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Статья посвящена тоске по родине как фундаментальной настроенности по отношению к миру, где каждая вещь присутствует в своем уникальном смысле. Мы тоскуем по полноте бытия, по истинной, полноценной в каждом своем моменте жизни, простирающейся на *тот* свет и на *этот*. Наша подлинная родина разрастается до бесконечного универсума. Однако не каждый это духовное состояние сознает в качестве средоточия жизнедеятельности: мы не выпадаем из обезличенной и безразличной повседневности в ценностно-значимую, личностную ежечасность, ежеминутность. Высшее осознание здесь-бытия и, соответственно, тоски по родине как необходимой настроенности для осуществления этого здесь-бытия как своем единственном Доме возможно в акте философствования и поэтизирования. Поэты более чем кто-либо другой погружены в слово, изыскание имен, наделение вещей смыслом, у них всегда сохраняется внутренняя тяга к языку как Дому бытия, жилищу всего сущего. Это и есть та почва, где искомая родина обретается.

**Ключевые слова:** тоска по родине, мир как целостность, язык как Дом бытия, философия, поэзия.

*E. K. Sobolevskaia*  
*HOMESICKNESS AS SENSE-MAKING NEED FOR POETIC THINKING*

The article deals with homesickness as the fundamental attunement to the world, where every thing is present in its own unique meaning. We yearn for the fullness of being, for the true, full-blown in each moment life that reaches not only this world, but also the other one. Our true homeland expands to the infinite universe. However, not everyone is aware of this spiritual state as the core of life activity: we do not fall out of impersonal and indifferent daily routine into a value-meaningful, personal hourly, minute-by-minute existence. A higher awareness of here-being and, thus, homesickness as the necessary attunement for the fulfilment of this here-being as one's only House is possible in an act of philosophizing and poeticizing. More than anybody else poets are immersed into the word, in search for the names, in giving

---

\* Соболевская Елена Константиновна, доктор философских наук, кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой культурологии, Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова; germusha@gmail.com

meanings to things, they constantly have an inner yearning to language as the House of Being, the dwelling of all things. That is the field where the desired homeland is found.

**Keywords:** homesickness, world as the wholeness, language as the House of Being, philosophy, poetry.

Когда в 1688 г. швейцарский врач Иоганн Хофер, описывая болезнь швейцарских солдат, служивших вдали от родины и исцелявшихся сразу после возвращения домой, изобрел сам термин «nostальгия» (*Nostalgia oder Heimweh* — от др.-греч. νόστος — «возвращение на родину» и ἄλγος — «боль, печаль»), никто, конечно же, не предполагал, что позднее это особое болезненное состояние станет предметом нескончаемых экзистенциальных медитаций — философских, поэтических, кинематографических — и уже в большом времени культуры обретет статус постоянно обогащающегося пучка смыслов, актуализирующего и преображающего как близлежащие культурные контексты, так и самые отдаленные. Никто не предполагал и того, что из этой в общем-то излечимой болезни родится болезнь неизлечимая, болезнь ниспосылаемая, неожиданно распознаваемая или же остающаяся нераспознанной, болезнь желаемая и намеренно провоцируемая или же не желаемая и сознательно подавляемая, изживаемая, вытесняемая на периферию жизни, однако в любом случае — необходимая для творческой бродильно-мыслительной среды.

Знаменитый фрагмент Новалиса, послуживший отправной точкой дальнейших интерпретаций ностальгии как особого духовного состояния, гласит: «Die Philosophie ist eigentlich Heimweh, ein Trieb, überall zu Hause zu sein», т. е.: философия есть подлинная, истинная боль, тоска по дому, по родному очагу, изначальная потребность, влечение, тяготение повсюду дома быть. Исходя из ключевых терминов этого фрагмента и его языковых возможностей, Хайдеггер вторит своему предшественнику и различает философию, точнее — философствование как ностальгию, и наоборот: *ностальгию, тоску по дому как фундаментальное настроение философствования* («das Heimweh als die Grundstimmung des Philosophierens»), как стремление, как неизбывное тяготение к повсюду наличествующему миру как Дому: *стремление в любое мгновение нашей жизни и вместе с тем одновременно в Целом быть* («... überall zu Hause sein heißt: jederzeit und zumal im Ganzen sein»). И далее: само наше бытие, сам способ нашего пребывания в мире как *неистребимое, вынужденное тяготение, притяжение* («Unser Sein ist diese Getriebenheit»), как *сам этот путь, странствование, переход* («selbst dieses Unterwegs, dieser Übergang») и, соответственно, как *колебание между ни тем — ни другим* («Herschwingen zwischen dem Weder-Noch»), как *отсутствие покоя из-за непрекращающегося отрицания* («diese Unruhe des Nichts»), где, тем не менее, обнаруживается наша конечность (die Endlichkeit) как основание-и-способ нашего бытия («die Grundart unseres Seins»), как *глубинная внутренняя обращенность к концу* («innerste Verendlichung»). И именно в осознании этой обращенности к концу, в ее, так сказать, бережном, терпеливом взращивании становится возможной некая особая, внешне противоречивая, но внутренне согласованная форма бытия в мире, а именно: *единение человека в его сущностном здесь-бытии* («...vollzieht sich letztlich eine Vereinzelung des Menschen auf sein Dasein»), при-

чем не собственно *уединение*, но и *единение, сбиение*, или же такое особое *одиночество*, в котором каждый человек впервые приближается к сущности всех вещей, к миру («...vielmehr jene Vereinsamung, in der jeder Mensch allererst in die Nähe zum Wesentlichen aller Dinge gelangt, zur Welt») (см.: [10, S. 7–8]).

В немецкоязычном «die Vereinzelung», означающем «разъединение», «разобщение» и вместе с тем «уединение» (das Vereinzeln, das Alleinsein), как раз и запечатлено это особого рода одиночество, которое может совершиться в высшем смысле, а может и не совершиться, т. е. остаться, собственно говоря, одиночеством, обособлением, отъединением от сущности вещей и мира в целом. Таковым оно в большинстве случаев и остается. Но ежели это уединение, или же особого рода одиночество, все же совершается как событие, как со-бытие, как раскрытие и выявление изначально данного человеку дара, как доопределение человеческой природы, то оно не является отстранением от окружающего мира и тем самым — отстранением от себя-подлинного, но каждым в отдельности обретается как единственное, неповторяемое, всегда заново обретаемое фундаментальное состояние подлинности бытия в мире, и уже состояние мира, который также раскрывается (будучи при этом изначально открытым) здесь и сейчас обретенному состоянию навстречу. В ностальгирующем, болящем по миру состоянии философствования имеет место *не просто достижение сущности вещей*, но — *уже схватывание и постижение*.

Однако для Новалиса философия нераздельна с поэзией, более того — именно поэзия и, по-видимому, сам момент поэтизирования (стихосложения), есть абсолютная реальность, поэтизирование и определяет или же выявляет подлинность философствования: «Die Poesie ist das echt absolut Reelle. Dies ist der Kern meiner Philosophie. Je poetischer, je wahrer» [11]. Заметим, что немецкоязычное «der Kern» содержит в своем семантическом ореоле и зерно, и семя, и сердцевину, и сущность. Другими словами, поэзия выступает в качестве средоточия, своего рода солнечного сплетения жизненных сил философии, ее телеологической причиной, из которой все произрастает и к которой все устремляется. Взятые в своей нераздельной взаимосвязанности, располагающиеся на самом деле не в горизонтальной плоскости, а в некоем вневременном, не поддающемуся механическим исчислениям зазоре, промежутке, так сказать, всегда на меже, всегда в пути, философия-тоска-боль-болезнь-поэзия есть та необходимая фундаментальная настроенность по отношению к миру как целому, к миру в его целокупности как своему единственному Дому, где каждая вещь присутствует в своем незаместимом, уникальном, неповторимом смысле, и пребывающий в особой настроенности человек этому смыслу оказывается причастным. Мир в таком случае перестает быть объектом теоретизирования, о нем не говорят и не высказывают суждения. И болезнь, и страдания, и скорбь, и боль, и, наконец, сама смерть, которые мы никоим образом окончательно упразднить не можем (хотя именно к этому неизменно стремимся!), принимаются не как пустое, бессмысленное разрушение и уничтожение, но как данные нам ради нашего же поспевания, успевания и, в конце концов, успешения. Отсюда и это неустранимое беспокойство и тоска, жизнь как хроническая болезнь, достигающая в своих крайностях бесплодного отчаяния и плача по себе возможной, однако недосягаемой, но вместе с тем ощущаемой и умными очами созерцаемой.

В этом же ключе разворачивается и мысль Райнера-Мария Рильке в стихотворении 1909 г.:

Das ist die Sehnsucht: wohnen im Gewoge  
und keine Heimat haben in der Zeit.  
Und das sind Wünsche: leise Dialoge  
täglicher Stunden mit der Ewigkeit.

Und das ist Leben. Bis aus einem Gestern  
die einsamste von allen Stunden steigt,  
die, anders lächelnd als die andern Schwestern,  
dem Ewigen entgegenschweigt [3, с. 26].

Немецкое die Sehnsucht (тоска, страстное желание, стремление) синонимично по отношению к die Nostalgie, или же das Heimweh, однако существуют также и близкие по значению die Fernsucht, или das Fernweh (тяга к дальним странствиям), и кроме того — die Leidenschaft, что само собой подразумевает не только страсть или страстное влечение, но и страдание, мучение, боль. Данные смысловые оттенки как бы доращивают тоску в плане глубинного тяготения к иному, усиливают саму мучительность волнения, беспокойства из-за неимения родины, пристанища, родного во времени берега и вместе с тем — осознание того, что так явственно в своем отсутствии присутствует. Укоренение в таком экзистенциальном состоянии порождает желание ненавязчивого, едва слышного, ежедневного и ежечасного диалога с Вечностью. Именно здесь открывается сокрытое дотоле слово, поэзис. Потому этот диалог и едва слышный — ведь Вечность не приемлет волнения и обеспокоенности. И это есть Жизнь, та подлинная Жизнь, к которой человек, сам того не зная, стремится, которую подспудно ощущает, однако в нее не попадает, не выпадает из обесцененной, обезличенной и безразличной повседневности в ценностно-значимую, личностную ежечасность, ежеминутность. И так до тех пор, пока из какого-то вчерашнего дня, из уже прошедшего, но вместе с тем никогда не утрачивающего свою актуальность в единственно длящемся настоящем, не взойдет особый час нашей жизни (а возможно — и пока каждый из нас в отдельности не взойдет, не вырастет в этом особом часе своей жизни), отличающийся от всех других часов — die einsamste Stunde, который, в отличие от своих друг на друга похожих сестер (а час в немецком языке женского рода), будет иначе улыбаться и уже молчать навстречу Вечности. Молчание, освобождение от мучительной жажды непрекращающегося диалога наступает тогда, когда страждущий уже естественно, спокойно, без какой бы то ни было излишней сути входит, как бы само собой вливается в воды Вечности, в сами уста, в само устье. К слову замечу, что Рильке, всю жизнь болезненно тосковавший по России и считавший ее своей духовной родиной, а тоску — своим основным состоянием, отдавал предпочтение именно русскому слову *тоска* в его непереводимом образно-смысловом звучании, а не немецкому *die Sehnsucht*, «немец, — писал он, — вовсе не тоскует, и его Sehnsucht вовсе не то, а совсем другое сентиментальное состояние души...» (см.: [2, с. 142]).

И ежели у нас нет родины во времени, нет этого неизменно чаемого родного берега, на который мы можем ступить и, так сказать, обустроить свое жилище, то что есть это сокровенное нечто, эта иная, вневременная, однако вездесущая родина, не определенный, однако повсюду находящийся дом, в поисках которого мы пребываем и снедающая тоска по которому нам предвещает нечто большее, чем мы сами, неизбежно пространством и временем обусловленные и родину в обыденном смысле все же во времени имеющие? Наша подлинная родина разрастается до бесконечного в пространстве и времени универсума, поскольку каждый из нас глубинной жизнью своего существа ему причастен; мы тоскуем по всему, что в нем отражается, запечатлевается и навечно сохраняется, предстает в то или иное мгновение явственно, неявственно или же пребывает незримо, так сказать, присутствует в своем отсутствии; мы тоскуем по другому бытию, по бытию *других*, и не только сейчас живущих, но и ушедших за черту земного бытия, смерть преодолевших, и еще в земную жизнь не вступивших и, тем не менее, *уже* или *еще* в своем бытии гнездящихся. Мы тоскуем по полноте бытия, или же по истинной, полноценной в каждом своем моменте жизни. Именно такую жизнь в качестве жизни подлинной, в бесконечности простирающейся на *тот* свет и на *этот*, ранее предчувствует, а затем и проживает в «Дуйнских элегиях» и «Сонетах к Орфею» Райнера-Мария Рильке.

В одном из писем 1925 г., где поэт комментирует свои произведения, есть, в частности, такие строки:

Lebens- und Todesbejahung erweist sich als Eines in den «Elegien». Das eine zuzugeben ohne das andere, sei, so wird hier erfahren und gefeiert, eine schließlich alles Unendliche ausschließende Einschränkung. Der Tod ist die uns abgekehrte, von uns unbeschienene Seite des Lebens: wir müssen versuchen, das größte Bewußtsein unseres Daseins zu leisten, das in beiden unabgegrenzten Bereichen zu Hause ist, aus beiden unerschöpflich genährt... [12]

Как видим, высшее осознание нашего здесь-бытия необходимо предполагает принятие жизни и смерти в качестве единого целого, вопреки всем нашим естественным сопротивлениям и страхам. До тех пор, пока мы живем только лишь в посюстороннем, видимом, освещенном мире, принимаем его в качестве единственного данного нам для жизни и не принимаем мира потустороннего, мира невидимого, или же темного и неосвещенного в качестве той области, которую также надлежит смиренной любовью обживать и все более и более одомашнивать, мы не достигли осознания нашего бытия — мы не у себя дома, мы находимся только на пути к этому Дому (на пути к целостной по обе стороны жизни), хотя изначально, сами того не зная, уже в этом Доме пребываем. Неосознание и, как следствие, непринятие, а зачастую и сознательное отвержение полноценной части предназначенному нам жилища, точнее, заброшенность и невозделанность смерти (темной, неосвещенной стороны жизни) делает нас самих, живущих, заброшенными и невозделанными, по существу, бездомными, лишенными своих корней, лишенными родной земли, лишенными целостной жизни. Мы, смертные, не ведаем своей смертности, а значит, не ведаем и любви, у нас не хватает мужества жить перед лицом смерти и перед лицом смерти любить, и потому мы провисаем в беспочвенности, истощаемся в отсутствии

живительного истока осознания бытия. Мы не имеем дома во времени (но, ни на йоту не сомневаясь, полагаем, что имеем), поскольку, утверждая себя исключительно по эту сторону жизни, мы подлинного Дома и не найдем.

И когда Новалис или же Рильке обличают вещи невидимые, выставляют эту тягу *повсюду быть дома* напоказ, то это как раз и свидетельствует о том, что не только философы, но и поэты, а возможно, поэты более чем кто-либо другой, эту тягу ощущают и, будучи погруженными в слово, в изыскание имен, наделение вещей смыслом и творение смыслов в их всегда актуальном настоящем, стяжающей первооснове каждого момента и всего сущего, *высшего осознания бытия* все же достигают и в бытии как *подлинном Доме* все же оказываются. Именно здесь, в состоянии философствования или же теснейшим образом с ним переплетенном состоянии поэтизирования, искомая родная почва обретается. Являясь, так сказать, эмпирическими существами, не обнаруживающими и не сознающими в себе эту тягу к *иному, нездешнему*, однако нам, здешним, родственному, мы и не можем ее утолить, не можем сами по себе проживать жизнь в бесконечной всеобщей взаимосвязанности, взаимопроникновенности сущего, мы не принимаем ушедших или же еще не пришедших в качестве наделенных бытием, нам нет дела до других жизней и других экзистенциальных переживаний, нам нет дела до бытия вещей, мы всматриваемся только в сами вещи в их эмпирической данности, только в жизнь или же только в смерть как взаимоисключающие друг друга области. Такова наша экзистенциально ущербная, мертвая в своем основании жизнь без родины, без этой врожденной, однако не обнаруженной в себе тоски, не раскрытоого в себе стремления к родине приблизиться. Тогда как для поэта в мире нет ничего абсолютно мертвого (впрочем, как и ничего абсолютно живого), ничего, что подлежало бы окончательному отчуждению, уничтожению, растворению в небытии, даже когда речь идет о том, что, с обыденной точки зрения, без всякого сомнения мертвым признается. Так, размышая о стихотворении Шарля Бодлера «Падаль» (*«Une Charogne»*), Рильке видит в нем не только необходимое начало «трезвой точности» искусства, но и собственно саму основу ничего не исключающего, всеприемлющего художественного мироощущения:

Художественное созерцание, должно было так решительно преодолеть себя, чтобы даже в страшном и, по видимости, лишь отвратительном, увидеть часть бытия, имеющую такое же право на внимание, как и всякое другое бытие. Как нам не дано выбора, так и творческой личности не позволено отворачиваться от какого бы то ни было существования: один-единственный самовольный отказ лишает художника благодати и делает его вечным грешником [2, с. 231–232].

Именно в этом запечатлении, по сути, оживлении, выведении в сферу актуального бытия, и, в конце концов, наделении смыслом мертвого, отвратительного и ужасающего (а ведь Бодлер именно к этому неимоверную тягу и испытывал) начинается приобщение к тому, что и предощущается нами в качестве подлинной, однако необжитой родины, начинается переживание, изживание этой одолевающей нас тяги, которое, как ни странно, перерастает в еще более сильное желание насыщения, расширения границ видимого и слышимого вплоть до взаимопроникновения с каждой вещью и всеобъемлющим целым.

Когда в 1934 г. Марина Цветаева пишет свою Тоску по родине, то это уже, так сказать, *особая Цветаева и особая тоска*. Я имею в виду не просто многолетний опыт поэта-эмигранта, но прежде всего глубокий жизненный опыт Цветаевой-поэта. Это уже Цветаева, пережившая «Рассвет на рельсах» (Покамест день не встал С его страстиами стравленными — Во всю горизонталь Россию восстановлива!), «Наклон» (Тяга темени к изголовью Гроба), «Рас-стояние: версты, мили...», это Цветаева-Эвридика, Цветаева-Сивилла, Цветаева, побывавшая на Горе и с Горы спустившаяся («Поэма Горы» и «Поэма Конца»), Цветаева, переосмыслившая уходы многих своих современников (и в этом отношении ей равных нет), это Цветаева, прошедшая через совместную переписку с Пастернаком и Рильке, причастная единству жизни-смерти «Сонетов к Орфею» и «Дуинских элегий» и элегии одиннадцатой, непосредственно к ней обращенной, это, наконец, Цветаева, выстрадавшая, претерпевшая смерть самого Райнера Рильке и преобразившая ее в Новогоднем письме *на тот свет* в событие величайшего масштаба. Именно этот опыт, расширенный и углубленный смертью, ее осознанием и преодолением, по сути, претворением в слове, переведением в регистр жизни, опыт, простирающийся на мир потусторонний как равноценный миру посюстороннему, и дает ей основания свободно начать стихотворение с категорического отказа от присущего русской эмигрантской среде в высшей степени обостренного чувства ностальгии по вынуждено оставленной родине. В данном случае Марина не то чтобы начинает стихотворение с верхнего «до», а находит ту самую высокую, болезненную, уже нечеловеческую ноту, которая располагается *до или поверх* всего — ту ноту, которую раньше никто не брал по причине ее отсутствия в традиционном звуковом ряду.

Тоска по родине! Давно  
Разоблаченная морока!  
Мне совершенно всё равно —  
Где совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой  
Брести с кошелкою базарной  
В дом, и не знающий, что — мой,  
Как госпиталь, или казарма [6, с. 315].

По-видимому, сказать, что это стихотворение с его неистово пульсирующим лейтмотивом «мне все — равны», «мне всё — равно», «мне всё — едино», с его безоговорочным отказом от какой бы то ни было пространственно-временной обусловленности и категорическим утверждением всякой людской среды (в т. ч. и эмигрантской) как среды отталкивающей, всякого дома как чуждого, всякого храма как пустого звучит в качестве последнего вызова привычным человеческим устоям — это сказать мало... Вызов брошен самой поэтической традиции и даже себе-поэту, в любом случае изъясняющемуся посредством языка (всегда сохраняющего, по крайней мере, внешнюю национальную определенность), в т. ч. и посредством языка родного, с молоком матери-земли впитанного:

Не обольщусь и языком  
Родным, его призывом млечным.  
Мне безразлично — на каком  
Непонимаемой быть встречным!  
<...>  
Все признаки с меня, все меты,  
Все даты — как рукой сняло:  
Душа, родившаяся — где-то. [6, с. 316]

В контексте данного стихотворения родной языкк, при том, что он безоговорочно осознан языком млечным, а значит и вечным, с присущим ему зычным неумолкающим зовом (и дальнейший ассоциативный ряд: зев — место, где укреплен язык как орган порождения звуков, речи, небо — купол рта, а затем и купол церкви, уходящий в небо, язык колокола, издающий колокольный звон, зов...), воспринимается, равно как и сама тоска по родине, в качестве «давно разоблаченной мороки». Это мы уже проходили, могла бы сказать Цветаева, знаем, что, когда речь идет о поэзии, о самом процессе стихосложения и прочтения уже созданного произведения, никакими известными нам языками суть дела не исчерпывается. Так, еще в 1926 г. она писала Рильке:

...у Гёте где-то сказано, что на чужом языке нельзя создать ничего значительного, — я же всегда считала, что это неверно. <...> Поэзия — уже перевод, с родного языка на чужой — будь то французский или немецкий — неважно. Для поэта нет родного языка. Писать стихи и значит перелагать. <...> Я не русский поэт и всегда недоумеваю, когда меня им считают и называют. Для того и становишься поэтом (если им вообще можно стать, если им не являешься отродясь!), чтобы не быть французом, русским и т. д., чтобы быть — всем. Иными словами: ты — поэт, ибо не француз. Национальность — это от- и заключенность. Орфей взывает национальность... [9, с. 66–67].

И в продолжение сказанного еще несколько строк, обращенных к Рильке, по поводу т. н. родины поэта:

Кто ж ты все-таки, Райннер? Не немец, хотя — целая Германия! Не чех, хотя родился в Чехии (NB! в стране, которой еще не было, — это подходит!), не австриец, потому что Австрия *была*, а ты — будешь! Ну не чудесно ли? У тебя — нет родины! [9, с. 70].

Не будем, однако, упускать из виду, что Цветаева как поэт все же ощущала себя русской через стихию слова и что немецкий и русский языки считала ближе всех к языку родному — ангельскому, вненациональному, или же всеязычному языку того света, с которого и осуществляется перевод на множество языков (см.: [7, с. 133; 9, с. 67; 4, с. 184]). И ежели у поэта нет ни родного языка, ни родины, то это как раз и свидетельствует о том, что у него всегда сохраняется и остается неутоленной глубинная внутренняя тяга к тому особому, ноуменальному, единственно родному языку, языку как Дому бытия, который и есть жилище всего сущего и одновременно — та почва, где в процессе стихосложения желаемая родина обретается. И все же у поэта, как у человека, есть и родина во времени, и родной материнский язык, родная речь, однако и в этой

данной ему от рождения родине он, скорее, ощущает себя изгнаником, не-жели полноценным коренным жителем. Спасением от изгнничества, путем к подлинной родине становится стихосложение, поскольку оно прежде всего предполагает отстранение от того или иного конкретного национального языка, или же кардинальное остранение самого языка, каждый раз его узнавание и, соответственно, переименование, остранение связанного с ним мира, что также предполагает уход в себя, уединение, сбиение себя из разрозненности, обретение внутреннего дома, поскольку тебя, говорящего на языке странном, отовсюду вытесняют и в то же время поскольку тебе самому невыносимо и невыразимо тесно находиться в рамках языка до тебя узнанного, ведущего свои знаковые, поверхностные, не сущностные игры. И ежели сам процесс стихосложения есть отстранение и остранение, исход из мира мер, из языка родного в его эмпирической обусловленности, то сам стих, произведение так или иначе завершенное, предстает в качестве фрагмента смысла, оказавшегося в плenу языка, в качестве неотвратимо написанного пропущенными звеньями текста, который на том единственном языке поэзии есть, однако полностью ни на каком языке выписаться никогда не может. В том или ином языке (языках) возможно только явление (множество таковых), но не выражение всеохватывающей полноты бытия. Замечу, что и сам способ цветаевского стихосложения — ярчайшее тому подтверждение. Она всегда запечатлевает в речи и тем более на письме несравненно меньше, чем во всей очевидности знала — знала до словесно-знаковой реализации, и сама же об этом свидетельствует, скажем, в цикле «Куст» (1934), написанном практически одновременно с *Тоской по родине*:

Да вот и сейчас, словарю Придавши бессмертную силу, — Да разве я то говорю, Что знала, пока не раскрыла Рта, знала еще на черте Губ, той — за которой осколки... И снова, во всей полноте, Знать буду, как только умолкну [6, с. 318].

В данной связи важно обратить внимание на финальные строки *Тоски по родине*. Именно к ним строка за строкой с неимоверной скоростью устремлен весь предшествующий крайне напряженный текст. И эти финальные строки, как и должно быть, по силе не уступают ни началу с его категорически однозначным определением тоски по родине как мороки, марева, иллюзорного состояния, ни дальнейшему ходу стиха с его новыми и новыми разоблачениями:

Всяк дом мне чужд, всякий храм мне пуст,  
И всё — равно, и всё — едино.  
Но если по дороге — куст  
Встаёт, особенно — рябина... [6, с. 316]

Казалось бы, куда выше — всё перечислила, от всего отстранилась и тем самым окончательно остранила перечисленное. Стока за строкой текст накапливал смыслы и разрастался, подобно снежному кому, и вдруг — грядущее предполагается, однако отсутствует, и отсутствует в высшей степени красноречиво. Стихотворение закончено тем, что оно не закончено, это и есть его окончание: само остановилось на нужном ему слове, дальнейший словесный ряд в любом случае был бы излишен и однозначно беден.

Демонстративный отказ от конца в его вербальной данности — случай в области поэтического искусства далеко не единичный. Положение вещей такого рода Ю. М. Лотман определяет как *семантический взрыв*. Размышляя о стихотворении А. Пушкина «Осень» (1833), ученый пишет:

Стихотворение, начатое целым набором знаков застывания, перехода от движения к неподвижности, от жизни к смерти, завершается подлинным взрывом динамики, открывающим простор миру интерпретаций. Можно сказать, что стихотворение имеет начало, но вместо конца в нем — семантический взрыв. Каждое новое прочтение в принципе может расширять и изменять направленность его общего смысла [1, с. 516].

Замечу, однако, что в произведении Пушкина т. н. семантический взрыв если и не жестко, то, по крайней мере, вполне обусловлен, он все же не происходит *вдруг ни с того ни с сего*. Во-первых, «Осень» имеет второе название — «Отрывок», что уже является подготовкой к отказу от традиционного классического финала; во-вторых, в последней части Пушкинского текста речь идет о самом процессе стихосложения, который, по сравнению с безупречной циклической закономерностью жизни природы и монотонной сменой времен года, совершенно непредсказуем, и его непредсказуемость не оговаривается, не фиксируется вербально — поэт эту непредсказуемость воочию показывает и повинуется ей так же, как мог бы повиноваться и свободному течению стихов, если бы оно действительно было свободным. Более того — текст Пушкина (во всяком случае, по академическому изданию) заканчивается не многоточием, а двумя минус-стихами, что, в свою очередь, предполагает возможные варианты прочтения, а не безоговорочный конец, или, как говорит Лотман, открывает простор миру интерпретаций. Однако в цветаевском стихотворении мы ничего подобного не находим. Стремительно движущийся текст остановлен на половине предложения, и к тому же — в конце его придаточной части, непреложно требующей продолжения/завершения («Но если по дороге — куст Встает, особенно — рябина...»). Семантический взрыв не обусловлен, он происходит, скорее всего, и для самого автора не иначе как *вдруг* (что, тем не менее, не дает оснований исключать каких-либо строк, самим автором мысленно выписанных). И в этой необусловленности его колossalная сила: поэтическая смысловая интонация не только не ослабляется, но восполняется, что, конечно же, связано в том числе и с символической насыщенностью имеющегося финала.

Куст рябины, неожиданно возникающий на пути, как столп истины, как то, что никакими заговорами и уговорами с места не сдвинешь и не переничишь, прежде всего — яркое свидетельство родины поэта, родины вполне определенной и вполне определенной православным календарем даты рождения — 26 сентября, день представления Иоанна Богослова.

Красною кистью  
Рябина зажглась.  
Падали листья,  
Я родилась.  
Спорили сотни

Колоколов.  
День был субботний:  
Иоанн Богослов.  
Мне и доныне  
Хочется грызть  
Жаркой рябины  
Горькую кисть [5, с. 273–274].

И тем не менее рябину, как и березу, а через них — родину, можно встретить и за пределами строго определенного места. Рябина, ягода горькая, терпкая, ассоциируется с горечью утраты, с горьким хлебом изгнания… И все же Цветаева не позволяет себе никакой чувственной, сентиментальной расхлябанности (это была бы уже не Цветаева, а «баба style russe», см.: [4, с. 136]), не проговаривает дальнейшего и волевым усилием завершает произведение, т. е. свою тоску по родине, отсутствием каких бы то ни было строк на каком бы то ни было языке (тем более на русском) — не одевает встречу с рябиной в национальную плоть, не позволяет безмерное мерой измерять. Оставшееся — молчание, но при этом — не отречение, и оно, безусловно, большее, чем то, что можно было бы проговорить.

Пребывание за пределами родины, родной земли и родной речевой среды не означает окончательной утраты и бессмысленной погибели на чужбине, но служит непреложным основанием беспрерывного восстановления родины в духе и одновременно — выстраивания, восстановления самого духа, самой души и духовной жизни как жизни преодолевающей необратимость расставания, ностальгирующей по вездесущему Дому, как жизни стремящейся за границы самое себя в иной, бесконечно расширяющийся/углубляющийся горизонт вневременно-пространственного плана бытия… И ежели родина каким-то неизбежным, неконтролируемым образом связывается с малым, наглядным, до боли узнаваемым, то это не уступка миру мер, не повинование естественному человеческому желанию в плenу мер оказаться, но стремление через малое, меру и предел имеющее, за границы видимого к миру в его безмерности и беспредельности. Поэту негде приклонить голову на земле, ибо он по природе своей — *слепец и пасынок*, а не тот, кто *отч и зряч*. И такое понимание родины и своей по отношению к родине участности у Цветаевой было практически всегда. Еще на первых порах эмиграции, отвечая на анкету пражского журнала «Своими путями», она писала:

Родина не есть условность территории, а непреложность памяти и крови. Не быть в России, забыть Россию — может бояться лишь тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри, — тот потеряет ее лишь вместе с жизнью. Писателям типа А. Н. Толстого, т. е. чистым бытовикам, необходимо <...> воочию и воунию наблюдать частности спешащего бытового часа. Лирикам же, эпикам и сказочникам, самой природой творчества своего дальновзорким, лучше видеть Россию издалека <...>. Вопрос о возврате в Россию — лишь частность вопроса о любви-вблизи и любви-издалека, о любви-воочию — пусть искаженного до потери лица, и о любви в духе, восстанавливющей лицо [8, с. 618–619].

И чем более родина в своей эмпирической данности, узости земных границ с годами отдаляется, тем более укрепляется ощущение себя как вечного

изгнаника и скитальца на земле, независимо от времени и местонахождения непреложно восстанавливающего лик родины в духе, и при этом родины не как определенной страны земной карты, но как целостного образа единения, стяжания сущностей всех вещей в их нераздельной взаимосвязанности. Поэт все глубже укореняется в неизменном отсутствии тем не менее явственно присутствующей родины, поскольку он такое положение вещей задает, наделяет смыслом и в смысле удерживает. Тоска по родине — фундаментальная настроенность по отношению к миру как целому, к миру как своему единственному Дому, неизбывное стремление в любое мгновение жизни и вместе с тем одновременно повсеместно Дома быть: через слово, через пространство поэтическое повсюду вживаться, становиться, повсюду быть всем, находиться при сути вещей, не утрачивая при этом себя как безмерно тоскующего, испытывающего хроническую боль причастности состоянию неизменно рождающегося смысла целого, его духовного становления и восстановления. Тяготение повсюду быть дома — тяготение к смыслу, Логосу, обнаруживающемуся в слове и через слово: говорить не о чем-то определенном, не о мире и его частностях как об отчужденных объектах (как об «он», «она», «оно»), не противостоять миру, ибо мир закрыт перед противостоящим ему субъектом, но быть открытым миру, дать вещам проникнуть в себя, и обнаружить себя как нераздельно и неслиянно с вещами и миром в целом взаимосвязанного. Поэту не нужно непременно идти на родину и к родине как конкретному месту, не нужно уподобляться Орфею, превысившему свои полномочия и оказавшемуся в том, безвидном мире всего лишь призраком среди вовнутрь зрящих сущностей. Ему нужно петь родину, собирать ее по крупицам из несущего в своей разрозненности мира, голосом-бытием из небытия выводить на свет, в бытие.

Если б Орфей не сошел в Аид  
Сам, а послал бы голос

Свой, только голос послал во тьму,  
Сам у порога- лишиним
  
Встав, — Эвридики бы по нему  
Как по канату вышла...

Как по канату и как на свет,  
Слепо и без возврата.  
Ибо раз голос тебе, поэт,  
Дан, остальное — взято [6, с. 323–324].

Взято действительно все, в т. ч. и родина, а возможно — и родина прежде всего, дабы ее духовное обновление и восстановление не прекращалось.

## ЛИТЕРАТУРА

- Лотман Ю. М. Две «Осени» // Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. — СПб.: Искусство—СПб., 2001. — С. 511–520.

- 2 Рильке Р.-М. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи / пер. с нем. — М.: Искусство, 1994.
3. Рильке Р.-М. Стихотворения / Rilke R.-M. Gedichte / сост. и пер. В. Куприянова. — М.: Радуга, 1998.
4. Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради / подгот. текста, предисл., примеч. Е. Б. Коркиной, И. Д. Шевеленко. — М.: Эллис Лак, 1997.
5. Цветаева М. И. Собр. соч.: в 7 т. — М.: Эллис Лак, 1994. — Т. 1: Стихотворения / сост., подгот. текста и comment. А. Саакянц, Л. Мнухина.
6. Цветаева М. И. Собр. соч.: в 7 т. — М.: Эллис Лак, 1994. — Т. 2: Стихотворения. Переводы / сост., подгот. текста и comment. А. Саакянц, Л. Мнухина.
7. Цветаева М. И. Собр. соч.: в 7 т. — М.: Эллис Лак, 1994. — Т. 3: Поэмы. Драматические произведения / сост., подгот. текста и comment. А. Саакянц, Л. Мнухина.
8. Цветаева М. И. Собр. соч.: в 7 т. — М.: Эллис Лак, 1994. — Т. 4: Воспоминания о современниках. Дневниковая проза / сост., подгот. текста и comment. А. Саакянц, Л. Мнухина.
9. Цветаева М. И. Собрание сочинений: В 7 т. — Т. 7: Письма / сост., подгот. текста и comment. А. Саакянц, Л. Мнухина. — М.: Эллис Лак, 1995.
10. Heidegger M. Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt — Endlichkeit — Einsamkeit // Heidegger M. Gesamtausgabe. — Bd. 29/30. — Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1992.
11. Novalis. Fragmente über Poesie // Novalis. Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenbergs. — Bd. 2. — Stuttgart, 1960. — S. 413–464. — URL: <https://www.lernhelfer.de/sites/default/files/lexicon/pdf/BWS-DEU2-0433-10.pdf> (дата обращения: 13.03.2021).
12. Rilke R.-M. Brief an Witold von Hulewicz, 13.XI.25. — URL: [https://bibliel.com/?Deutsche\\_Lyrik\\_u.\\_a.\\_%2F\\_L%C3%ADrica\\_alemana\\_y\\_m%C3%A1s\\_Literatur\\_der\\_Jahrhundertwende\\_%2F\\_Literatura\\_finisecular\\_%281890–1920%29\\_Anhang\\_%2F\\_Ap%C3%A9ndice\\_R.\\_M.\\_Rilke%3A\\_Brief\\_an\\_Witold\\_von\\_Hulewicz%2C\\_13.XI.25\\_%2F\\_Carta\\_a\\_Witold\\_von\\_Hulewicz\\_13.XI.25](https://bibliel.com/?Deutsche_Lyrik_u._a._%2F_L%C3%ADrica_alemana_y_m%C3%A1s_Literatur_der_Jahrhundertwende_%2F_Literatura_finisecular_%281890–1920%29_Anhang_%2F_Ap%C3%A9ndice_R._M._Rilke%3A_Brief_an_Witold_von_Hulewicz%2C_13.XI.25_%2F_Carta_a_Witold_von_Hulewicz_13.XI.25) (дата обращения: 13.03.2021).